

АФПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

•

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

•

Редакционная коллегия:

Г. А. БЯЛЫЙ
М. П. ЕРЕМИН
С. А. МАКАШИН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

•

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,

ОЧЕРКИ

•

ДРАМЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

Р 1
П 34

Комментарии

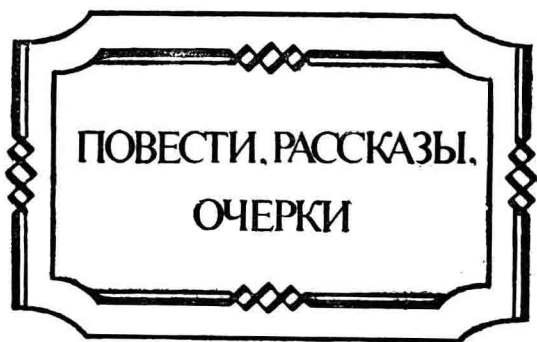
М. П. ЕРЕМИНА
(повести, рассказы)
А. И. ЖУРАВЛЕВОЙ
(драмы)

Оформление художника

Е. ГОЛЬДИНА

4702010100-316
П 028(01)-82 — подписное

© Состав, оформление, комментарии. Издательство «Художественная литература», 1982 г.



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ

СТАРАЯ БАРЫНЯ

РАССКАЗ

В селе В...е была последняя станция, на которую приехал я в родные пределы свои на почтовых, и потому велел себя везти на постоянный двор. Его держала знакомая старуха, по прозванию Грачиха и вор-баба, как обыкновенно прибавляли знающие ее — и бари и мужики: небольшого роста, с лицом багровым, как из красной меди, толстая, но еще проворная, услужливая, говорунья без умолку, особенно когда навеселе, а навеселе почти целый день с утра до полуночи. Подъехал я ночью, переизбав, как водится, до костей. Ощущью вошел по знакомой лесенке и отворил калитку в сени. В полумраке мерцала тоненькая сальная свечка в железном подсвечнике, воткнутом в столб, да из длинной трубы самовара вырывалось пламя от зажженной лучины; смутно видневшаяся лошадиная морда старательно грызла перилы, отделяющие сени от двора. Из отворенных дверей избы валил пар клубами.

— Хозяйка, старый хрен, господа приехали! — крикнул я.

— Ай, батюшки! Господа и есть, — послышался голос старухи, а затем она и сама появилась.

— В горницу пожалуйста, сударики, сюда, сюда, господа честные! — говорила она.

Я вошел. Сильно нагретым и удушливым воздухом так и обдало меня.

— Старая, у тебя угарно! — сказал я.

— Нет, сударик, нету, с утра еще топлено, — отвечала старуха, а сама, впрочем, засунула жирную руку в отдушину и вытаскивала оттуда вьюшки.

Я между тем раздевался.

— Батюшки! — воскликнула старуха, всплеснув руками. — На-ка, барин-то знакомый, а я, старая дура, и не признала, на-ка! Откуда изволишь ехать?

— Из Питера.

— Ну, вот откуда. Не узнала я, не узнала, раздобрел больно, какой дюжий стал. Иван Петрович, сударь, недавно проезжали.

— Какой Иван Петрович? — спросил я.

— Иван Петрович Сорокин, чтой-то, словно не знаешь, благоприятели, чай?

Никакого Ивана Петровича Сорокина и во сне не видывал, но, догадываясь, что старуха хочет что-нибудь рассказать про Ивана Петровича, притворился,

— А что же? — спросил.

Старуха только махнула рукой.

— Ой, не говори уже лучше, такая у них этта пановщина была с барыней-то, что хоть до нехорошего... Мирила, мирила их, да и полно!

— Повздорили! — заметил я.

— Шибко, — отвечала старуха, — в грошовом калаче дело вышло, барин-то скупенек; сам вон кузовья покупает, чтоб хошь копейку какую выторговать; ну и принес с базара грошовый калач, да и потчует барыню, а той не нравится, из того и пошло: «Ты, говорит, мне все делаешь напротив», а та стала корить: «Ты, говорит, душенька, меня только мякиной и кормишь», ну и почали, согрешила я, грешная, с ними.

— И что же? — спросил я.

— Ничего, побранились, — отвечала старуха; и потом, вдруг переменяв насмешливое выражение на грустное, произнесла печальным голосом: — Тетенька-то твоя, батюшка, Мария Николавна, померла.

— Какая тетенька Марья Николавна? — спросил я.

— Ой, да Ометкина-то, чтой-то в Питере-то всех пере-забыл.

— Ну, баушка, провралась, такой тетки у меня не бывало, — проговорил я.

— Нà, аль взаправду это не тебе тетка-то? Так, так, так!.. Николаю Егорычу Бекасову, вот ведь чья она тетка-то, — вывернулась старуха. — Похороны, сударь, были богатеющие, совершали, как должно, не жалеючи денег. Что было этого духовенства, что этой нищей братии!.. — продолжала она, поджимая руки и приготавливаясь, кажется, к длинному рассказу. Но в это время из соседней комнаты послышался треск и закричал сиплый голос:

— Пусти меня, кто меня смеет вязать. Ванька... хозяин мой... подлец, дай водки! Пусти меня... — и снова треск.

— Успокойте себя, Владимир Васильич, просим вас покорнейше, сусните хоть немножко, право слово, вам легче будет! — отвечал фистулой другой голос.

— Легче? Легости мне не надо. Я, значит, гуляю, а ты подлец — вот весь мой разговор с тобой, и кончено! — произнес сиплый голос и потом запел:

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял!

— Кто там такой? — спросил я.

— Охотник, батюшка... мужички в рекруты везут сдавать за себя... охотник загулял, — отвечала хозяйка.

— Что же трещит там такое?

— Ну, да хмелен уж очень, так посвязали его... опасаются тоже, чтобы чего не случилось, сюда-то уж приехал до зелена змея пьяный, да и здесь еще полштофа вышел, ну так и опасаются, посвязали.

— В таком случае, тетка, пусти меня в избу, здесь угарно, да и пьяный, — сказал я, вставая.

— Батюшка, да в избе-то тараканы, морозила, морозила, не переводятся окаянные, да и только.

— Нет, ничего, я не боюсь тараканов.

— Ну, как изволишь, — отвечала старуха и стала провожать меня, бормоча:

— Опасаются тоже, пятьсот рублей уж прогулял, пожалуй, еще облопается — и пропали денежки.

Изба, куда я вошел, была большая и обрядная, стены струганые, печь белая, перегородка от нее дощаная, лавки и полцы чисто вымытые. В переднем углу под образами стоял стол, за которым сидел старик с бритой бородой, с двумя седыми клочками волос на висках, с умным выражением в лице и, как видно, слепой. Одет он был в синий, старинного покроя, суконный сюртук, из-под которого виднелась манишка с брыжами и кашемировый полосатый жилет, тоже, должно быть, очень старинный. Весь этот ветхий костюм его был чист и сбережен наперекор, кажется, самому времени. Рядом с ним помещалась тоже очень опрятная и благообразная старушка, в худеньком старом капоре и в ситцевом ватном капоте. На первый взгляд я подумал, что это бедные дворяне. При входе моем старушка сейчас встала, сказала что-то старику, тот приподнялся, и оба поклонились мне.

— Садитесь, пожалуйста, место будет, — сказал я.

— Ничего, сударь, — отвечала старушка каким-то же-

манным голосом, отодвигая свои скудные пожитки в мешочке.

— Сидите, пожалуйста,— повторил я.

Старик прислушался к моим словам и, ощутив с осторожностью слепца лавку, сел, а потом, опершись на свою клюку, уставил на меня свои мутные глаза; старушка не садилась и продолжала стоять в довольно почтительной позе. Я догадался, что это не дворяне.

— Куда едете, любезные? — спросил я.

— В губернский город, милостивый государь,— отвечал старик печальным голосом.

— Дедушки, батюшка, охотника этого; провожают его... дедушки,— подхватила хозяйка, ставившая на стол самовар.

— Деды этого молодца? — сказал я.

— Деды,— отвечал, глубоко вздохнув, старик и потупил свою седую голову.

— А званья какого?

— Мещане, ваше высокородие.

— Из роду мещане?

— Никак нет-с, напередь того были господские люди.

— Не в эком бы месте внуку Якова Иваныча надо быть,— вмешалась хозяйка,— вот при нем, при старичке, говорю,— продолжала она,— в свою пору был большой человек, куражливый. Приедет, бывало, на квартиру, так знай, хозяйка, что делать, не подавай вчерашнего кушанья или самовар нечищенный.

Старик горько улыбнулся.

— Не думали и мы, сударыня, что наше родное детище будет таким,— проговорила старушка своим жеманным и песколько плаксивым тоном.

— Что говорить, мать моя, что говорить! — подхватила хозяйка, тоже плачевным тоном.

— Остался после дочери моей родной,— продолжала старушка,— словно ненаглядный брильянт для нас; думали, утехой да радостью будет в нашем одиночестве да старости; обучали как дворянского сына; отпустили в Москву по торговой части к людям, кажется, хорошим.

— Что говорить, что говорить, мать моя,— подхватила еще раз хозяйка.

— Что ж он, загулял там? — спросил я.

— Бог знает, сударь, как сказать, хозяева ли обижали или сам себя не поберег,— отвечала старушка.

Старик горько улыбнулся и перебил жену:

— Он еще с детства себя не берег, оттого что в ба-ловстве родился и вырос; другие промышленники по этому же делу, еще в мальчиках живши, в дома присылают, а наш все из дому пишет да требует: посылали, посылали, наконец, сами в разоренье пришли. А тут слышим, что по таким делам пошел, что, пожалуй, и в острог попадет. Ста-ли писать и звать, так только через два года явился: при-шел наг и бос. Обули, одели, думая, что в наших глазах исправление будет, а вместо того с первой же недели по-тащил все из дому в кабак...

С каждым словом в голосе старика слышалось более и более строгости, а на глазах старушки навернулись слезы.

— Чьих же вы господ были? — спросил я, чтобы пре-кратить этот, видимо, тяжелый для них разговор.

— Господ мы были: госпожи гоф-интенданши Пасму-ровой, — отвечал слепец внушительно.

— Гоф-интендантши Пасмуровой, — повторил я, при-поминая, что мне еще матушка рассказывала что-то такое о гоф-интендантше Пасмуровой как о большой, по-тогдаш-нему, барыне.

— Ваша госпожа была здесь довольно знатное и из-вестное лицо? — сказал я.

При этом вопросе лицо старика окончательно просвет-лело.

— Госпожа наша, — начал он не торопясь и с ударе-нием, — была, может, наипервая особа в России: только званье имела, что женщина была; а что супротив их ни один мужчина говорить не мог. Как ими сказано, так и быть должно. Умнейшего ума были дама.

— Хорошо, говорят, жила, открыто? — спросил я.

— По-царски или как бы фельдмаршалше какой по-добает. Своей братьи помещиков круглый год неразъезд-ная была. В доме сорок комнат, и то по годовым праздни-кам тесно бывало. Словно сарапчи налетит с мамками, с детками, с няньками, всем прием был, — заключил старик каким-то чехвальным тоном. Я понял, что передо мной один из тех старых слуг прежних барь, которые росли и старелись, с одной стороны, в модном, по-тогдашнему, то-не, а с другой — под палкой...

— Ты, верно, управителем был? — спросил я.

— Я был, сударь, — отвечал старик, зажимая глаза и как бы сбираясь с мыслями, — был, по-нашему, по-старин-ному сказать, главный дворецкий: одно дело — вся лакей-

ская прислуга, а их было человек двадцать с музыкантами, все под моей командой были, а паче того, сервировка к столу: покойная госпожа наша не любила, чтобы попросту это было, каждый день парад! А другое: зрение они слабое имели, и по той причине письма под диктовку их писал, по делам тоже в присутственных местах хождение имел, так как я грамоте хорошо обучен и хоть законов доподлинно не знаю, а все с чиновниками мог разговаривать, умел, как и что сказать; до пятидесяти лет, сударь, моей жизни, кроме шелковых чулков и тонкого английского сукна фрака, другого платья не нашивал. Дай бог царство небесное, пользовался милостями госпожи моей!

— Нынче уж таких господ нет, — сказал я.

— Никак нет-с, да и быть, сударь, не может. Не имею чести знать, кто вы такие, а по слепоте моей и лица вашего не вижу; таких господ уже нет! — отвечал старик, как бы удерживаясь говорить со мною откровенно.

— Я здешний помещик, и мне бы очень хотелось порасспросить тебя о старых господах.

Старик вздохнул.

— Девяносто седьмой год, сударь, живу на свете и большую вижу во всем перемену: старые господа, так надо сказать, против нынешних орлы перед воробьями! — проговорил он, значительно мотнув головою.

— Отчего же это? — спросил я.

Старик в раздумье развел руками.

— Первое дело, — начал он, — что все состоянием-то как-то порасстроились, да и духу уж такого не имеют; у нынешних господ как-то уж совсем поведение другое, а прежде жили просто; всего было много: хлеба, скота, винная седка тоже своя, одних наливок — так бочками заготовлялось, медов этих, браг сладких! Веселились да гуляли или теперь, бывало, этих шутов и шутих свезут всех вместе у кого-нибудь на празднике, да и напустят друг на дружку, те и дерутся, забавляют господ, а нынче дворянство как-то и компании друг с другом мало ведут, всё больше в книгах забаву имеют.

На этом месте старик приостановился, но потом вдруг начал с одушевлением:

— Да и много ли нынче господ по усадьбам проживают? Разве какой старый да хворый, а то все, почесть, на службе состоят, а уж из этаких-то больших персон, так и нет никого; хошь бы теперь взять: госпожа наша гоф-интенданша, — продолжал он почти с умилением, — какой

она гонор по губернии имела: по-старинному наместника, а по-нынешнему губернатора, нового назначают, он еще в Петербурге, а она уж там своим знакомым министрам и сенаторам пишет, что так как едет к нам новый губернатор, вы скажите ему, чтобы он меня знал, и я его знать буду, а как теперь дали ей за известие, что приехал, сейчас изволит кликать меня. Я являюсь, делаю мой реверанс. «Слушай, говорит, Яков Иванов! — в нос всегда изволили немного выговаривать. — Слушай! Приехал новый губернатор, возьми ты лучшую тройку, поезжай ты в Кострому, ступай ты к такому-то золотых дел мастеру, возьми по моей записке серебряную лохань, отыщи ты, где хочешь, самолучших мерных стерлядей, а еще приятнее того — живого осетра, явись ты от моего имени к губернатору, объяви об себе, что так и так, госпожа твоя гоф-интенданша, по слабости своего здоровья, сама приехать не может, но заочно делает ему поздравление с приездом и, как обывательница здешняя, кланяется ему вместо хлеба-соли рыбой в лохане». Тот принимает, мне сейчас отличное угощение делают, госпоже нашей изволят они писать письмо.

— Дружелюбие, значит, и началось, — заметил я в тон старику.

— Именно, что дружелюбие, слово ваше справедливое! — подхватил он. — По той причине, что как теперь его превосходительство начальник губернии изволят на ревизию поехать, так и к нам в гости, и наезды бывали богатеющие: нынешние вот губернаторы, как видали и слыхали, с форсом тоже ездят, приема и уважения себе большого требуют, страх хоша бы маленьким чиновникам от них великий бывает, но, зная все это по старине, нынешние против того ничего не значат.

— А прежде что ж? — спросил я.

Яков Иванов пригнул на некоторое время голову на сторону и начал:

— Прежде, сударь, бывало, губернатор по губернии ехал, аки владыко земной: что одних чиновников этих при особе его состояло, что этого дворянства по дороге пристанет. Один был, не смею имени его наименовать, так с супругой еще всегда изволили по губернии ездить, а те, с позволения сказать, по женской своей слабости, к собачкам пристрастие имели. Про собачек этих особый экипаж шел, а для охранения их нарочный исправник ехал, да как-то по нечаянности одну собачку и потерял, так ее пре-

восходительство губернаторша, невзирая на свой великий сан, по щеке его ударила при всей публике да из службы еще за то выгнали, времена какие были-с.

— Хорошие были времена, простые! — заметил я.

— Просто было-с,— заключил Яков Иванов, потом, подумав, продолжал: — Бывало, сударь, вся эта компания наедет к нам, сутки трои, четыре, неделю гостят, и теперь какую бы губернатор в доме вещь ни похвалил: часы ли, картину ли, мису ли серебряную, я уж заранее такой приказ имею, что как вечер, так и несу к ним в опочивальню, докладываю, что госпоже нашей очень приятно, что такая-то вещь им понравилась, и просят принять ее.

— Неужели же старуха все это из чехвальства делала? — спросил я.

— Чехвальство чехвальством,— отвечал Яков Иванов,— конечно, и самолюбие они большое имели, но паче того и выгоды свои из того извлекали: примерно так доложить, по губернскому правлению именье теперь в продажу идет, и госпожа наша хоть бы по дружественному расположению начальников губернии, на какое только оком своим взглянут, то и будет наше. Коли хоша я, поверенный госпожи Пасмуровой, пришел на торги в присутствие, никто уж из покупателей не сунется: всяк знает, что начальник губернии того не желает. Поблагодаришь кого и чем следует, а за именье что дали, то и ладно. Белогривское именье нам, сударь, этак попало по сто двадцати рублей в те времена, а я приехал принимать вотчину да по двести рублей с мужиков старой недоимки собрал, и извольте считать: во что оно нам пришло!

Яков Иванов потушился и вздохнул.

— Старик! Ведь это грех, ведь это тоже воровство,— воскликнул я.

— Грех, сударь; в нищенстве и слепоте моей все теперь вижу и чувствую. В заповеди господней сказано: не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, а старушка наша имела к тому зависть, хотя и то надобно сказать, все люди, все человеки не без слабости.

На последние слова он сделал более сильное ударение.

— Выгодчики были с барыней-то своей, еще какие! — вмешалась вдруг возившаяся около печки Грачиха.— Про именье рассказываешь — нет, ты лучше Расскажи, как вы дворянина за свою вотчину в рекруты отдали,— продолжала она, выходя из-за перегородки и вставая под полати,

причем взялась одной рукой за брус, а другую уперлась в жирный бок свой.

Яков Иванов немного пахмурился.

— Как дворянина? — спросил я.

— А и сдали, — отвечала Грачиха, — не любила, сударь, их госпожа генеральша мужиков своих под красную шапку отдавать, все ей были нужны да надобны, так дворянин на ту пору небогатышкой прилучился: дурашной этакой с роду, маленького, что ли, изурочили, головища большая, плоская была, а разума очень мало имел: ни счету, ни дней, ничего не знал. Ну, а дворянством своим занимался тоже, разумел это. Вот соколики эти и подъехали к нему и стали его уговаривать: «Ты, говорят, барин, а живешь по работникам у мужиков, лучше бы в службу шел. Теперь, говорит, ты грамоте не поучен, и тебя по дворянскому роду не примут, а ступай за нашу вотчину, а после и объявишь об себе, тебя как дворянина и поведут». Тот сдуру-то, родных тоже никого не было, чтобы разговаривать да посоветовать, а они его винищем поили да пряниками кормили, сдуру и согласился. Привели баринка в присутствие, объявили за простого мужика, крикнули: «Лоб!», надели лямку и ступай, значит, марш заодно с рекрутами. Города через три али четыре тот и заявляет своему начальнику: «Я, говорит, дворянин». — «Какой, говорит, ты дворянин...» — попугал его маленько, а он все свое: дворянин да и только; и пошел к начальству выше, объявляет то же. Те смотрят по бумагам — видят — мужик, отпрапортовали его уж как надо. Сердечный баринок наш видит, что, как о дворянстве объявит, — хлещут, взял да и отступился, оттрубил за их вотчину тридцать пять годков. Докуменщики какие были. Може, за эти выдумки родной кровью своей теперь и платится, — заключила Грачиха вполголоса, указав глазами на Якова Иванова, который, в свою очередь, весь ее рассказ слушал, потупив голову и ни слова не возражая. Я постарался опять переменить разговор и спросил старика:

— Кому же именье госпожи вашей досталось? Я видел, усадьба какая-то разоренная, запущенная, дом развалился?..

— В опеке, сударь, наше именье состоит, — отвечал он, видимо довольный этим переходом. — Ну и опекуны тоже люди чужие: либо заняться ничем не хотят, либо себе в карман тащат, не то, что уж до хозяйства что касается, а оброшников и тех в порядке не держат: пьяницы да моту-

ны живут без страха, а которые дома побогатее были, к тем прижимы частые: то сына, говорят, в рекруты отдадим, то самого во двор возьмем.

— И откупайся, значит, мужичок. Прежде-то уж вы больно много денег нажили,— подхватила Грачиха.

Яков Иванов не обратил никакого внимания на ее слова и продолжал:

— Против чиновников тоже вотчина никакой заступы не имеет. Прежде, бывало, при покойной госпоже дворовые наши ребята уж точно что народ был буйный... храмового праздника не проходило, чтобы буйства не сделали, целые базары разбивали, и тут начальство, понимаючи, чьи и какой госпожи эти люди, больше словом, что упроят, то и есть, а нынче небольшой бы, кажется, человек наш становой пристав, командует, наказует у нас по деревням, все из интересу этого поганого, к которому, кажется, такое пристрастие имеет, что тот самый день считает в жизни своей потерянным, в который выгоды не имел по службе. Я как-то раз, встретивши его в городе, говорю: «За что и за какие вины, говорю, сударь, вы так уж очень вотчину покойной госпожи моей обижаете?» — «Ах, говорит, старец почтенный, где нынче нам, земской полиции, стало поначальствовать, как не в опекунских имениях; времена пошли строгие: за дела брать нельзя, а что без дела сорвешь, то и поживешь», смеется-с!

— Того и стоите; на крапиву надобен и мороз, а то бы она долго жглась,— проговорила, подмигнув глазом, Грачиха.

— На каком же основании именье ваше в опеке, за долги, что ли? — спросил я.

— Малолетних, сударь, теперь наше имение. За малолетними, за правнуками госпожи нашей числится оно,— отвечал Яков Иванов.

— А сыновья и внучата где же?

— Сын их единородный,— начал старик с грустною, но внушительною важностью,— единая их утеха и радость в жизни, паче всего тем, что, бывши еще в молодых и цветущих летах, а уже в больших чинах состояли, и службу свою продолжали больше в иностранных землях, где, надо полагать, лишившись тем временем супруги своей, потеряли первоначально свой рассудок, а тут и жизнь свою кончили, оставивши на руках нашей старушки свою дочь, а их внуку, но и той господь бог, по воле своей, не дал долгого веку.